

Фредерик Марриет

Валерия



Фредерик Марриет

Валерия

«Public Domain»

1848

Марриет Ф.

Валерия / Ф. Марриет — «Public Domain», 1848

«Я поставила в заглавии этой книги имя, данное мне при крещении. Если читатель не поскучает прочесть ее до конца, то узнает, чем сделалась я теперь, после жизни, полной приключений. Я не буду отнимать у него времени, распространяясь в предисловии, но сейчас же расскажу о моем рождении и воспитании и познакомлю его с моими родственниками. Это необходимо: время рождения и родство еще не так важны; но важно воспитание, потому что оно подготовило много событий в моей жизни. Многое зависит, однако же, и от происхождения и во всяком случае упомянуть о нем должно для полноты картины. Итак, начнем с начала...»

Содержание

Глава I	5
Глава II	10
Глава III	13
Глава IV	15
Глава V	18
Глава VI	25
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Фредерик Марриет

Валерия

Глава I

Я поставила в заглавии этой книги имя, данное мне при крещении. Если читатель не поскучает прочитать ее до конца, то узнает, чем сделалась я теперь, после жизни, полной приключений. Я не буду отнимать у него времени, распространяясь в предисловии, но сейчас же расскажу о моем рождении и воспитании и познакомлю его с моими родственниками. Это необходимо: время рождения и родство еще не так важны; но важно воспитание, потому что оно подготовило много событий в моей жизни. Многое зависит, однако же, и от происхождения и во всяком случае упомянуть о нем должно для полноты картины. Итак, начнем с начала.

Я родилась во Франции. Отец мой происходил от младшей линии старинной дворянской фамилии; он был сын старого офицера и сам служил офицером в армии Наполеона. Он был с ним в итальянском походе и, продолжая сопровождать его во всех кампаниях, дослужился до капитана кавалерии. Он отличался много раз; получил орден почетного легиона; император любил его, и все были уверены, что отец мой быстро пойдет вперед, – как вдруг он сделал сильную ошибку. Эскадрон его стоял в маленьком городке Цвейбрюккене, на берегу Эрбаха; тут он увидел мать мою, влюбился и женился. Поступок был извинителен: такой красавицы, как мать моя, я не видывала; притом, она была отличная музыкантша, хорошей фамилии и с приданым довольно значительным.

Читатель скажет, может быть, что отец мой, женившись, не сделал вовсе никакой ошибки. Это правда: ошибка состояла не в том, что он женился, а в том, что послушался матушки и испортил свою карьеру. Он хотел оставить жену до конца кампании у родителей. Она этого не захотела, и отец мой исполнил ее желание. Наполеон не препятствовал своим офицерам жениться, но не любил, чтобы жены их следовали за армией. Вот почему отец мой лишился милости своего полководца. Мать моя была так хороша собою, что все тотчас же заметили ее; об этом не замедлил узнать и Наполеон, и это вооружило его против моего отца.

В первый год после свадьбы родился старший брат мой, Август; вскоре потом мать моя сделалась опять беременна, и это обрадовало отца: он был женат уже год и, любуясь красотой своей жены, уже рассчитывал, достаточно ли вознаграждает его обладание такою женщиною за потерю командования бригадой.

Для оправдания моего отца я должна сообщить читателю подробности, которые, может быть, ему неизвестны. Наполеон, как я сказала, не запрещал своим офицерам жениться; ему нужны были люди для войска, но только для войска: он не дорожил супругами, доставлявшими ему большею частью девочек. Но если, напротив того, жена дарила своего мужа шестью или семью мальчиками, и если он был военный, то мог быть уверен, что получит пожизненную пенсию. Мать моя родила сына, и так как известно, что женщина большею частью продолжает производить детей того пола, с которого начала, то все поздравляли ее с новой беременностью и предсказывали, что, благодаря ее плодовитости, муж скоро получит пенсию. Отец мой был того же мнения и надеялся, что пенсия вознаградит его за потерю бригады. Мать моя с уверенностью говорила, что родит сына.

Но все предсказания и надежды разрушило мое появление на свет. Отец мой был огорчен, но перенес это с твердостью мужчины. Мать моя была не только огорчена, но рассержена. Она была женщина вспыльчивая и получила ко мне какое-то отвращение. С летами это чувство не ослабевало, а усиливалось, и, как вы увидите, было главною причиной всех моих несчастий.

Отец мой, находя неудобным возить с собой жену в дальние походы и надеясь, может быть, снова заслужить милость императора и получить бригаду, предложил матери возвратиться с двумя детьми к своим родителям. Маменька решительно отказалась от этого, но согласилась отослать в Цвейбрюккен меня и брата моего Августа. Там жили мы в то время, когда отец следовал за судьбою императора, а мать за судьбою своего мужа. Я почти не помню деда и бабушки с материнской стороны; помню только, что я прожила у них до семилетнего возраста и потом переселилась с братом в Люневиль, к матери отца моего, которая пожелала заняться нашим воспитанием.

Этого желала, как я говорю вам, бабушка, а не дедушка, бывший тогда еще в живых. Будь его воля, он не призвал бы нас в Люневиль; он не любил детей. Но бабушка имела свое, независимое от мужа состояние, и настояла на том, чтобы мы переехали к ней. Я часто слышала, как дедушка говорил ей об издержках по случаю нашего у них пребывания, и как бабушка отвечала: «Eh bien, monsieur Chateauneuf, c'est mon argent que je dupense» (Ну, так что же, господин Шатонеф, ведь я на это расходую свои деньги).

Надо описать вам дедушку. Он служил во французской армии и вышел в отставку с чином майора и орденом почетного легиона. Это был высокий, статный старик, с белыми, как серебро, волосами. В молодости он слыл, говорят, одним из храбрейших и красивейших офицеров во французской армии. Он думал только о своем покое; детский шум сильно беспокоил его, и вот почему он не любил детей. Мы видели его чрезвычайно редко. Если мне, бывало, случалось забежать к нему в комнату, он сейчас же грозил мне розгой.

Люневиль прекрасный город в Мертском департаменте. Замок, или лучше сказать дворец, – великолепное, обширное здание, в котором жили некогда Лотарингские герцоги; и потом жил король Станислав, основавший военную школу, библиотеку и госпиталь. Дворец этот – квадратное здание, с прекрасным фасадом. Перед ним бьет фонтан. В середине дворца есть широкая площадь, а за ним обширный сад, содержимый в большой чистоте. Одну сторону дворца занимали офицеры полка, стоявшего в Люневиле, другую солдаты; остальное было назначено для старых отставных офицеров, получающих пенсию. В этом-то прекрасном здании поселились доживать свою жизнь дедушка и бабушка. За исключением Тюильри, я не знаю во Франции дворца, который мог бы сравниться с люневильским. В нем поселилась и я; когда мне было семь лет, и с этого времени начинается собственно и моя жизнь.

Я описала вам дедушку и наше жилище. Теперь позвольте познакомить вас с бабушкой, моей милой, доброй бабушкой, которую я так горячо любила при жизни и которой память уважаю так глубоко. Она была невелика ростом, но в шестьдесят лет не утратила еще своей красоты и держалась прямо, как стрела. Ни над кем, кажется, не пролетело время так легко; волосы ее были черны, как смоль, и ниспадали до самых колен. Все находили это чрезвычайно замечательным явлением, и она гордилась тем, что у нее нет ни волоска седого. Она потеряла уже много зубов, но морщин на лице ее не было, и для шестидесятилетней старушки она была необыкновенно свежа. Не состарилась она и душою – острела и вечно шутила. Офицеры, жившие во дворце, не выходили из ее комнат и предпочитали ее обществу обществу молодых женщин. Она страстно любила детей и всегда участвовала в наших играх; но при всей своей живости, она была женщина нравственная и религиозная. Она прощала леность и шалости; но ложь и нарушение правил чести всегда влекли за собою для меня и моего брата строгое наказание. Она говорила, что честность несовместна с обманом, и что из лжи сами собою возникают все прочие пороки. Правду считала она основанием всего доброго и благородного; прочие же ветви воспитания были, по ее мнению, сравнительно неважны и ничего не значили без любви к истине. Она была права.

Я и брат мой ходили каждый день в школу. Служанка наша, Катерина, отводила меня в школу после завтрака и приходила за мною в четыре часа после обеда. Это было счастливое

время моей жизни. С какою радостью возвращалась я во дворец и впрыгивала иногда, чтобы испугать бабушку, прямо к ней в окно! Она и сердилась и смеялась.

Бабушка была, как я заметила, религиозна, но не ханжа. Главным старанием ее было внушить мне любовь к правде, и она неумолимо преследовала свою цель. Если я, бывало, провинюсь, ее огорчал не проступок мой, а мысль, что я, может быть, стану отпираться. Для предотвращения лжи она изобрела престранное средство: она рассказывала, что видела проступок мой во сне. Она не обвиняла меня никогда, не уверившись наперед, что я, действительно, виновата, потом говорила мне поутру: «Валерия, мне сегодня снился сон; никак не могу забыть его. Снится мне, что будто ты забыла свое обещание, вошла в буфет и съела большой кусок пирога».

При этом она смотрела на меня очень пристально; я, слушая ее, краснела и потупляла глаза, и когда сон был досказан, я лежала у ног ее, припавши лицом к ее коленам. За проступки поважнее я должна была молить Бога о прощении, и потом меня сажали в тюрьму, то есть запирали на несколько часов в моей спальне. Катерина служила у бабушки уже давно и пользовалась большими привилегиями; она позволяла себе высказывать свое мнение и могла ворчать сколько угодно, чего и не упускала делать всякий раз, когда меня сажали под арест. «Бедная малютка – всегда в тюрьме. Это не хорошо, сударыня; выпустите ее». Бабушка отвечала ей очень спокойно: «Ты добрая женщина, Катерина, только ничего не смыслишь в воспитании». Иногда, однако же, ей удавалось выпросить ключ, и тогда меня освобождали раньше назначенного срока.

Заключение в тюрьму было для меня наказанием очень тяжелым: меня сажали всегда вечером, по возвращении из школы, и, следовательно, лишали возможности играть. Во дворце жило много женатых офицеров, и у меня было много подруг. Девочки ходили в рощу за дворцовым садом собирать цветы и плести гирлянды, которые вешали потом на веревке, натянутой поперек двора. При наступлении ночи все выходили из своих квартир с фонарями, танцевали, играли и веселились до тех пор, пока не наставала пора ложиться спать. Окна моей спальни выходили на двор, и, сидя в тюрьме, я имела неудовольствие видеть перед собою игры, в которых мне нельзя было участвовать.

В доказательство верности системы моей бабушки, я расскажу вам один случай. У деда моего было поместье мили за четыре от Люневилля. Часть его была отдана в наем фермеру, другою он заведовал и жил на получаемые с нее доходы. С этой фермы получали мы молоко, масло, сыр, фрукты и всякую всячину. В этой части Франции умеют топить и очищать масло на зиму, не соля его. Оно не портится и очень приятно на вкус, по крайней мере мне оно очень нравилось. В буфете стояло банок двадцать этого масла, и его брали из них поочередно. Я не смела сделать похищения из той банки, которая стояла на очереди, потому что это сейчас бы заметили; я принялась за последнюю и почти опорожнила ее прежде, нежели бабушка заметила мою проделку. Вслед за тем ей, по обыкновению, приснился сон. Она начала пересчитывать все банки: открывает первую – полна; открывает вторую – полна; третью – полна; и когда очередь еще далеко не дошла до последней, я стояла уже на коленях и досказывала сон бабушки. Я не в силах была выслушать осмотра всех двадцати банок. С этого времени я, не дожидаясь конца сновидения, признавалась в моем проступке.

Мне было уже девять лет, когда я провинилась в другом, более важном деле. Я расскажу вам этот случай ради оригинальности наказания, которое с пользою может быть употреблено и вами. Дети офицеров, живших во дворце, то есть собственно девочки, устраивали иногда в саду праздник, нечто вроде пикника: одни приносили пироги, другие фрукты, третьи деньги (по несколько су), для покупки конфет или чего вздумается обществу.

Бабушка давала мне на эти случаи всегда фрукты, целую кучу яблок и груш, привозимых нам с фермы. Однажды одна из девочек, постарше меня, сказала мне, что фруктов у них довольно, а чтобы я принесла денег. Я попросила у бабушки несколько су, но получила отказ. Подруга моя сказала: «Да ты укради деньги у дедушки». Я не соглашалась, но она начала надо

мною смеяться и довела меня до того, что я решилась. Давши ей слово, я была в самом неприятном положении. Я знала, что воровать дурно, а подруга не забыла внушить мне, как дурно не исполнять своих обещаний. Я не знала, что мне делать. Целый вечер была я в таком волнении, что бабушка не знала, что подумать. Я стыдилась нарушить данное слово и дрожала при мысли о предстоящем поступке. Наконец я легла в постель, но не спала. Около полуночи я встала, прокралась потихоньку в комнату дедушки, подошла к его платью, лежавшему на стуле, обшарила карманы и украла – два су!

Достигши цели, я ушла назад к себе в комнату. Не могу описать вам, что было со мною, когда я снова легла в постель, во всю ночь не смыкала глаз и на другое утро явилась бледная, истомленная, трепещущая. Оказалось, что дедушка подсмотрел, как я воровала деньги, и сказал это бабушке. Бабушка призвала меня к себе.

– Поди сюда, Валерия, – сказала она. – Мне снился сегодня ужасный сон: будто одна девочка прокралась ночью в комнату своего дедушки...

Я не выдержала, бросилась к ее ногам и воскликнула:

– Да, да! И украла два су!

Я залилась слезами, и целый час не могла ни встать, ни поднять глаз. Наказание было строгое. Меня замкнули на десять дней: но всего ужаснее было то, что меня призывали всякий раз, когда кто-нибудь к нам приходил, и бабушка торжественно представляла меня гостям со словами:

– Позвольте представить вам мадмуазель Валерию, которая сидит взаперти в своей комнате, за то, что украла два су у дедушки.

Стыда моего нельзя выразить словами. Это повторялось раз десять на день. Уходя в свою комнату, я заливалась горькими слезами. Наказание было строго, но благотворно. После этого я скорее согласилась бы вытерпеть пытку, нежели тронуть чужую вещь. Исцеление было радикальное.

Пять лет пробыла я под надзором бабушки, внушившей мне горячую любовь к правде. Я могу сказать по совести, что я была невинна, как агнец, – но скоро все это должно было измениться. Наполеон был низведен с престола и отвезен на бесплодную скалу. Во французской армии сделаны большие перемены. Гусарский полк, в котором служил отец мой, был распущен, и отца причислили к драгунам, назначенным в Люневиль. Он прибыл туда с матушкой и семью детьми. Всех нас было у него, следовательно, девять. Впоследствии число наше возросло до четырнадцати, – семь сыновей и семь дочерей. Будь Наполеон на троне, он непременно дал бы моему отцу пенсию.

Приезд родителей был для меня источником и радости, и горя. Мне ужасно хотелось увидеть братьев и сестер, и сердце мое рвалось к отцу и матери, хотя я их почти не помнила. Однако же я боялась, что меня отнимут у бабушки, да и сама она этого не желала. К несчастью, так и случилось. Меня с братом немедленно взяли домой.

Через неделю полк моего отца получил приказание выступить в Нант; но я успела уже убедиться в это время, что участь моя будет горька. Я исполняла в доме должность служанки и няньки при младших моих братьях; к неопisanному моему несчастью, матушка по-прежнему питала ко мне отвращение, и не проходило почти дня, чтобы она меня не наказывала.

Мы отправились в Нант; я думала, что не переживу разлуки с бабушкой, горько плакавшей на прощание. Отец охотно оставил бы меня у нее, и она обещала отказать мне свое имение; но это предложение только пуще разгневало матушку. Она объявила, что я не останусь в Люневиле, а отец мой ни в чем ей не противоречил.

Прибыв в Нант, мы расположились в казармах. Я должна была стлать постели, мыть детей, ходить гулять с младшим из них и исполнять все, что ни прикажут мне братья или сестры. Гардероб, которым снабдила меня бабушка, был очень хорош, его у меня взяли и перешили мои платья для детей, но всего обиднее было для меня то, что сестер учили музыке,

танцам и другим искусствам, а мне нельзя было пользоваться уроками, хотя учителя не взяли бы за это ни гроша лишнего.

Я живо помню, что чувствовала в это время. Я чувствовала, что от всей души люблю матушку, люблю ее горячо, но она все по-прежнему не любила меня.

Любимцем матушки был второй брат мой, Павел; он был удивительный музыкант: играл на чем угодно, читал самые трудные ноты с первого разу. Матушка сама была хорошая музыкантша и полюбила его за это дарование. Ему позволено было приказывать мне, что вздумается. Но за меня заступался Август и порядком отплачивал Павлу. Только это не помогало.

Следствием такого обращения со мною было то, что оно уничтожило во мне все, внушенное бабушкой. Страх наказания заставлял меня лгать и обманывать. Даже брат Август готов был вдаться в этот порок, жалея меня. «Валерия, – говаривал он, выбегая ко мне навстречу, когда я возвращалась домой с прогулки с маленьким братом, – матушка недовольна, ты должна сказать то и то». *То и то*, разумеется, была ложь; я лгала неловко, краснела и запинаясь; ложь не могла укрыться, и меня наказывали за то, что иногда и не заслуживало наказания. Поймавши меня во лжи, матушка никогда не забывала говорить об этом отцу, и мало-помалу он начал думать, что я заслуживаю такого обращения, что я дурная, скрытная девочка.

Я была счастлива только уходя из дому. Но это случалось, когда меня посылали гулять с маленьким братом моим Пьером. Окончив домашние работы, я должна была нести его на воздух. Если он плакал и капризничал, то прогулка начиналась немедленно. Я знала это и щипала его, чтобы заставить плакать и выйти с ним из дому. Я сделалась жестокою. С каким негодованием отвергла бы я подобные поступки полгода тому назад!

Матушка воображала, что обращение ее со мною известно только домашним, но она ошибалась. Обо мне сожалели все офицеры и жены их, жившие в казармах.

Жена одного из высших офицеров, также жившего в казармах, питала ко мне особенное участие. У нее тоже была дочь Валерия. Уходя из дому, я обыкновенно приходила к ним, и, видя, как ласкает и обнимает мою тезку мать ее, я невольно плакала, чувствуя, что лишена этого наслаждения.

– О чем ты плачешь, Валерия?

– О, зачем меня так же не ласкают? Что я сделала?

Глава II

Несколько дней спустя, я пошла гулять с маленьким Пьером. Я шла погруженная в глубокую думу и перенеслась мысленно в Люневиль, к моей милой бабушке. Вдруг я поскользнулась и упала. Желая удержать Пьера, я сама ушиблась очень больно; но, к несчастью, и он ушибся не легче. Он заплакал и застонал; я старалась его утешить, но безуспешно. Часа два проходила я, не смея показаться домой; но наконец стемнело, и я принуждена была воротиться. Пьер, не умеющий еще говорить, продолжал стонать и плакать, и я рассказала все, как было. Матушка наказала меня за это.

Я подумала о всех моих страданиях и решила оставить, скрепя сердце дом родительский. На рассвете я встала, оделась, вышла поспешно из казарм и отправилась в Люневиль, отстоявший он Нанта за пятнадцать миль. На половине дороги встретился со мною солдат нашего полка, когда-то служивший у нас в доме. Я хотела было пройти возле него незамеченной, но он узнал меня. Я просила его не мешать мне и сказала, что иду к бабушке. Яков сказал, что он не скажет никому ни слова.

– Но, – прибавил он, – до Люневиля еще далеко, и вы устанете. За деньги вас кто-нибудь доведет.

Он сунул мне в руку монету в пять франков, и мы расстались. Я дошла наконец до фермы моего дедушки, отстоявшей, как уже вам известно, за четыре мили от города. Прямо в Люневиль идти я боялась: я знала, что дедушка, пожалуй, примет меня не охотно. Я рассказала свою историю жене фермера и умоляла ее пойти к бабушке и сказать ей, что я здесь. Она уложила меня в постель и на другое утро пошла в Люневиль. Бабушка тотчас же прислала за мною шарабан. Добрая старушка заплакала, снявши с меня простое синее платье из бумажной материи. Дедушка был очень недоволен моим приездом.

– Если ты не хочешь, чтобы я приютила ее у себя в доме, – сказала она, – то во всяком случае не можешь помешать мне исполнить мой долг и распоряжаться моими деньгами, как мне угодно. Я отправлю ее в школу на мой счет.

Как только сшили мне новое платье, меня отвезли в лучший пансион в Люневиле. Вскоре потом приехал мой отец; его прислала за мною матушка; но бабушка не выдала меня. Он уехал без меня. Я пробыла в пансионе полтора года, оправилась, отдохнула и делала быстрые успехи в учении.

Но счастью моему не суждено было продлиться. Чувства, пробужденные во мне худым обращением, затихли, правда, в эти полтора года, но в пансионе мне было так хорошо, что я не желала возвратиться домой. По истечении этих восемнадцати месяцев полк моего отца получил приказание перейти в какой-то город, название которого я забыла; но дорога шла через Люневиль. Матушка перестала с некоторых пор говорить отцу, чтоб он взял меня из пансиона. Дамы в Нанте начали обходиться с нею очень холодно, и она сочла за лучшее оставить меня в пансионе. Но теперь она опять потребовала моего возвращения, обещая отцу быть со мною ласковее и обучать меня наравне с прочими сестрами. Она сказала даже бабушке, что сознает свою ошибку и досадует за прошедшее. Брат Август, отец мой и бабушка уговорили меня возвратиться домой. Матушка сделалась со мною очень ласкова; я чувствовала потребность любить ее, оставила пансион и уехала с ними.

Не успели мы поселиться на новом месте, как гнев матушки разразился надо мною сильнее прежнего. Брат Август вступался за меня, и в семействе нашем было вечное несогласие. Я познакомилась со многими и проводила в гостях целые дни. Взыскания матушки заставили меня снова возвратиться в Люневиль. Я не сказала этого никому, даже Августу. Трудно было выйти из главных ворот дома незамеченною, и узелок возбудил бы подозрение. С другой сто-

роны дома можно было ускользнуть только в решетчатое окно. Мне было четырнадцать лет, но я была очень тонка. Я попробовала просунуть в решетку голову и убедилась, что могу пролезть всем телом. Я схватила мой узелок и поспешила в контору дилижансов. Дилижанс готов был отойти в Люневиль; езды туда было больше полудня. Я села в карету. Кондуктор знал меня и подумал, что все в порядке. Мы уехали.

Со мною сидел какой-то офицер с женою. Они спросили меня, куда я еду. Я отвечала: к бабушке, в Люневиль. Им показалось странно, что я одна; они начали расспрашивать меня, и мало-помалу я рассказала им всю свою историю. Дама изъявила было желание принять меня к себе, но муж ее был благоразумнее и сказал, что у бабушки мне будет лучше.

Около полудня мы остановились переменить лошадей в гостинице «Louis d'Or», за четверть мили от Люневиля. Тут я ушла, ни слова не сказавши кондуктору; но он знал меня и мою бабушку и не обратил на это внимания. Я ушла потому, что дилижанс высадил бы меня как раз перед домом бабушки, и я непременно встретила бы с дедушкой, проводившим тут большую часть дня, греясь на солнце. Я боялась увидеть его прежде бабушки. В городе был у меня дядя, и я была очень дружна с кузиной Марией, прекрасной, доброй девушкой. Я решила пойти к ним и попросить кузину сходить к бабушке. Трудность состояла в том, чтобы добраться до их дома, не проходя мимо дворца или даже не переходя через мост. Я решила идти берегом до тех пор, пока не поравняюсь с рощицей позади дворца, и дожждаться там отлива. Я знала, что тут можно перейти вброд.

Дошедши до моста, я села на узелок и просидела на берегу часа три; потом сняла чулки и башмаки, завязала их в узел, приподняла юбку и перешла реку вброд. На противоположном берегу я опять обулась и прошла через рощу к дому моего дяди. Его не было дома, и я рассказала свое несчастье Марии; она в ту же минуту надела шляпку и пошла к бабушке. Эту ночь я провела опять в моей прежней спальне и, отходя ко сну, горячо благодарила Бога.

Дни спокойствия снова для меня настали, но дедушка не давал бабушке покоя по случаю моего у них пребывания. Однако же я пробыла у них более года и выучилась в это время плести кружева и вышивать. Между тем, дядя мой присоединился к дедушке, и они общими силами напали на бабушку. Причина была вот какая: когда меня не было здесь, бабушка часто делала подарки кузине Марии, бесспорно заслуживавшей ее любовь; но теперь она издерживала много на меня, и Мария была как будто забыта.

Это не нравилось дядюшке; он и дедушка начали утверждать, что теперь мне уже пятнадцать лет, и что они должны повиноваться воле моего отца, не перестававшего требовать моего возвращения. Бабушка не знала, что ей делать; они довели ее до того, что, наконец, она согласилась отослать меня к родителям, переехавшим между тем в Кольмар. Я ничего об этом не знала. Настал день рождения бабушки. Я вышила ей превосходное саше и поднесла его вместе с букетом цветов. Бабушка обняла меня, залилась слезами и сказала, что мы должны расстаться, и что я должна возвратиться к отцу.

– Да, милая Валерия, – продолжала бабушка, – ты должна уехать завтра. Я не могу препятствовать этому дольше. Силы мои слабеют. Я старею, очень старею.

Я не старалась изменить ее намерения. Я знала, сколько терпела она из-за меня, и чувствовала, что в свою очередь могу снести ради нее все. Я горько плакала. На следующее утро явился батюшка и обнял меня. Он радовался, что я так выросла и поправилась. Я простилась с бабушкой и дедушкой, которого после уже не видала, потому что он умер через три месяца после моего отъезда из Люневиля.

Не взыщите, любезный читатель, что я так много говорю об этом периоде моей жизни. Вы должны узнать, как была я воспитана и почему оставила потом родительский дом. В Кольмаре матушка приняла меня ласково, но это продолжалось недолго.

Однажды, я помню, один из офицеров, не предполагая, чтоб я могла его слышать, сказал другому:

– Ma foi, elle est jolie, Elle a besoin de deux ans, et elle sera parfaite, (Она хорошенькая. Ей надо еще два года, и она станет хоть куда).

Я была тогда еще такой ребенок, что не поняла значения этих слов.

Зачем мне надо постареть двумя годами? Я думала над этим выражением так долго, что почти заснула. Внимательность офицеров и комплименты, которые говорили они на мой счет отцу, производили на него больше впечатления, нежели я предполагала. Может быть, он чувствовал, что, действительно, может мною гордиться... и это располагало его ко мне. Помню особенно один случай. Предстояла церемония крещения двух новых колоколов. Офицеры сказали батюшке, что я непременно должна присутствовать на церемонии, и, возвратясь домой, он объявил матушке, что намерен взять меня завтра с собой.

– Нельзя, – отвечала она. – У ней нет приличного платья.

– А почему это? – спросил отец мой. – Приготовьте ей к завтраму платье непременно.

Матушка заметила, что таким приказом нельзя шутить, и сочла необходимым исполнить его желание.

На другой день я сопровождала отца, который был на церемонии по долгу службы; он стоял в церкви впереди других, и я, стоя возле него, видела все как нельзя лучше. Я была одета очень хорошо, и отцу моему наговорили множество комплиментов на мой счет. Начался обряд. Перед церковью были выстроены войска для наблюдения порядка; процессия вступила в церковь; епископ шел под балдахином, окруженный духовенством; за ними несли хоругви, и шли дети с серебряными курильницами в руках. Колокола стояли посреди церкви, покрытые белым покрывалом, украшенные лентами и гирляндами. Восприемники их были избраны из знатнейших жителей города. Орган и военная музыка сменяли друг друга, пока не началась служба и крещение колоколов. Один получил имя Эйлалии, другой Люцилии. Церемония была прекрасная.

Глава III

В Кольмаре жила старшая сестра моей матери. Я проводила у ней большую часть времени. Когда полк моего отца получил приказание идти в Париж, она просила, чтобы меня оставили у нее, но матушка не согласилась и сказала, что долг матери не позволяет ей удалить дочь от своего надзора. Между тем, через два часа она сказала отцу, что если бы сестра захотела взять Клару, мою меньшую сестру, так она согласилась бы. Дело в том, что тетушка обещала дать мне хорошее приданое.

Мы прошли Люневиль, и я в последний раз увидела бабушку. Она просила, чтобы меня оставили при ней, и снова обещала отказать мне все свое имение; но матушка и слышать этого не хотела. Нас было у нее четырнадцать детей; она легко могла бы обойтись без меня, и это облегчило бы отца; но она ни за что не хотела со мною расстаться, из чего все-таки следует заключить, что она меня любила. Мне очень хотелось остаться у бабушки. Она много постарела со смерти дедушки. Но мать моя была неумолима. Мы прибыли в Париж и поселились в казармах близ бульваров.

У меня никогда не было недостатка в друзьях. Я познакомилась с женою полковника, назначенного в наш полк в Париже. У нее не было детей. Я поверяла ей свои житейские неприятности, и она утешала меня.

Это была женщина очень религиозная; бабушка же воспитала меня в тех же правилах, и я понравилась ей за мое благочестие. У ней была сестра, богатая вдова, жившая на улице Сент-Оноре: женщина живая, веселая, но едкая, не задумывавшаяся над словами, лишь бы удовлетворить минутному чувству. Я постоянно встречала ее в доме полковника, и она пригласила меня к себе. Полковник был начальником моего отца, и потому желания матушки разорвать связь мою с его женою оставались тщетны. Я проводила все мое время вне дома.

Мне остается рассказать только два неприятных случая. Читатель подумает, может статься, что я и то уже довольно ему рассказала; но так как это два последние случая, и притом особенного рода, то я и прошу его выслушать их. Раз меня наказали вот за что: один молодой офицер оказывал мне особенное внимание. Я любила бывать с ним вместе, но мысль о замужестве вовсе не приходила мне в голову; я была еще совершенный ребенок. В одно утро оказалось, что он сделал предложение моему отцу; отец согласился, не спросив матушки, радуясь, вероятно, случаю пристроить меня. Когда он поручил ей спросить меня, согласна ли я на этот союз, она была не в духе. Я отвечала ей:

— Non, maman, je ne veux pas. Il est trop noir. (Нет, мамаша, я не хочу. Он слишком черен). Матушка, к моему изумлению, была чрезвычайно мною недовольна, что мне стоило много слез.

Случай этот узнали в казармах, и все взяли мою сторону. Я отказалась от одной довольно неприятной работы, и меня опять наказали, это случилось в последний раз, но очень жестоко, так что меня почти нельзя было узнать.

Я опять оставила родительский дом и отправилась к полковнице.

— Что тут с нею делать, сестра? — сказала полковница. — Посмотрим. Во всяком случае, Валерия, я оставлю вас здесь на несколько дней, покамест что-нибудь будет решено. Теперь уже почти ночь; вы ночуете у меня.

— Я теперь боюсь возвратиться домой.

— Полно, милая Валерия, — сказала полковница успокаивающим голосом.

— Оставь ее мне, — сказала сестра ее. — Я поговорю с нею. Полковник приехал сейчас домой, и ты должна принять его.

Госпожа Аллар (так звали полковницу) вышла из комнаты. Тогда сестра ее сказала мне:

— Друг мой, вы должны непременно возвратиться домой; но вам не для чего там оставаться: покамест у меня есть свой уголок, вы не будете без приюта. Только выслушайте меня. Я

желаю услужить вам; но вы должны взвесить все обстоятельства прежде, нежели на что-нибудь решитесь. Я говорю вам, что могу принять вас к себе. Никто, однако же, не может ручаться за свою жизнь, и если Богу угодно будет отозвать меня, вы останетесь без приюта. Что вы тогда станете делать?

– Вы очень добры, – отвечала я, – но я решилась; буду работать ради насущного хлеба, как могу. Доставьте мне только работу, и я буду благословлять вас до конца жизни. – Теперь я вижу, как поступок мой был неблагоприятен.

– Я не допущу вас до необходимости работать ради насущного хлеба, пока я жива; но когда умру, вы узнаете, что значит быть одной на свете.

– Догадываюсь, – сказала я, грустно качая головою.

– Засните теперь, а завтра скажите мне, на что вы решились.

– Я не смею от стыда возвратиться домой.

Глава IV

Через час госпожа д'Альбре опять пришла ко мне и заговорила со мною. Но в словах моих не было почти связи, и это встревожило ее. Между тем полковник приехал домой, и жена рассказала ему, что случилось. Он вошел ко мне в комнату, взял свечу, взглянул на меня и сказал:

– О, черт возьми, я не узнал бы ее!

Полковник и жена его вышли. Я между тем пришла в чувство. Госпожа д'Альбре подошла ко мне, наклонилась к моему лицу и сказала:

– Валерия!

– Что? – отвечала я.

– Успокоились ли вы? Можете ли вы меня выслушать?

– Могу, – отвечала я.

– Так слушайте же, вот мой план: полковник отведет вас домой; завтра я скажу вам, как вести себя. Завтра вечером вы убежите из дома; я буду ждать вас на углу улицы с наемной каретой. Я увезу вас к себе, и никто, даже сестра моя, не будет знать, где вы. Подумают, что вы пропали, и так как полк должен выступить недели через две в Лион, то никто не узнает, что вы еще живы, если только скрыть вас до того времени.

– Благодарю вас, благодарю! Вы не знаете, как вы меня осчастливили, – отвечала я, прижимая руку ее к сердцу, сильно бившемуся. – Да благословит вас Бог, мадам д'Альбре. О, как я буду за вас молиться! – Теперь, вспоминая этот дурной поступок, я удивляюсь, как я могла на него решиться при любви моей к батюшке и матушке, хорошо зная, что все мои бедствия происходили от того, что бедная матушка была самого вспыльчивого характера.

Мадам д'Альбре заплакала, потом пожелала мне доброй ночи и ушла. Я старалась заснуть, но не могла. Раз только я задремала, и мне привиделось, что матушка опять меня наказывала. Я вскрикнула, проснулась и уже более не засыпала. Я встала на рассвете и поспешила взглянуть в зеркало. Я ужаснулась: так лицо мое опухло. Служанка принесла мне кофе; я выпила и ждала прихода полковницы.

В первый и единственный раз видела я эту добрую женщину в гневе. Она кликнула с лестницы своего мужа; он вошел, посмотрел на меня, не сказал ни слова и удалился. Через полчаса пришла мадам д'Альбре и дала мне наставления, которым, по глупости своей, я последовала в точности. Она принесла мне черный вуаль, предполагая, что у меня нет такого; потом ушла, сказавши, что полковник послал за моим отцом, и что она желает присутствовать при их свидании.

Отец мой явился, и полковник осыпал его упреками за такое обращение матушки со мною. Потом он послал за мною мадам д'Альбре. Отец отшатнулся назад при моем появлении и сказал:

– Полковник, вы правы. Я заслуживаю ваши упреки. Пойдем, Валерия, бедное дитя мое.

Когда он взял меня за руку и хотел вести из комнаты, мадам д'Альбре сказала полковнику:

– Любезный Аллар, вы берете на себя большую ответственность, что позволяете увезти ее домой...

– Да, *ma chère*. Мосье де Шатонеф, я к вашим услугам.

Я во все это время не произнесла ни слова. Мадам д'Альбре повязала мне черный вуаль и закрыла им лицо мое. Мы уехали с отцом и полковником домой. Мы вошли в комнату, где сидела матушка, и отец отдернул с лица моего вуаль.

– Посмотрите, – сказал он строгим голосом, – до чего довела ее ваша запальчивость.

Отец пробыл с четверть часа со мною и утешал меня. Я слушала и не отвечала. Слезы выступали у меня на глазах. Он оставил меня и ушел из дому. Во весь этот день я не отвечала ни полслова на все то, что говорили мне братья и сестры, приходившие ко мне в комнату. Так научила меня мадам д'Альбре, да мне и самой не хотелось говорить. Служанки, принесшие мне обед и уговаривавшие меня съесть что-нибудь, не добились от меня никакого ответа, и наконец одна из них заплакала и сказала:

– Она с ума сошла!

Отец не возвращался к обеду; матушка не выходила из своей комнаты до вечера. Вечером он возвратился и пошел к ней. Оставалось полчаса до времени, назначенного мадам д'Альбре.

Я ждала и слышала наверху горячий спор. Я была одна: матушка запретила сестрам и братьям входить ко мне в комнату; я закрылась вуалью и спокойно вышла из дому.

Мадам д'Альбре ждала меня с каретой на условленном месте. Через несколько минут я была уже на новоселье, в великолепном жилище мадам д'Альбре. Она провела меня в маленький кабинет возле ее комнаты, и никто, кроме одной верной служанки не знал, что я в доме. На следующий день мадам д'Альбре отправилась в казармы, пробыла весь день у сестры и вечером зашла ко мне.

– Все вышло так, как мы ожидали, – сказала она, снимая шляпку. – Вас нигде не находят, и никто не подозревает, что вы здесь. Сначала подумали, что вы ушли к полковнице, и отец ваш счел за лучшее подождать до утра. Тут, к удивлению его, оказалось, что к полковнице вы не являлись. Спросили гусара, стоявшего вечером на часах; он отвечал, что часов в восемь какая-то молодая девушка, которую он принял за мадмуазель де Шатонеф, вышла из ворот, но что на ней был тюлевый вуаль, и лица он не видел. Когда отец ваш и полковник отпустили гусара, сестра заплакала и сказала: «О, она, верно, бросилась в Сену!» Отец ваш и полковник были поражены не меньше ее. Я застала их как раз в эту минуту.

– Сестра, – сказала мне мадам Аллар, – Валерия ушла из казарм.

– Как? Когда? – говорю я. – О, я этого ожидала!

– Я закрыла лицо платком и притворилась, что плачу. Только из любви к вам, Валерия, решилась я на этот обман. Обстоятельства меня оправдывают. Видя мои слезы, они не могли подозревать, что вы у меня.

Вскоре потом полковник сделал знак вашему отцу, и они вышли. Нет никакого сомнения, что они отправились в Morgue, узнать, не оправдались ли их опасения.

– Что это такое, Morgue? – спросила я.

– А вы не знаете? Это маленькое здание на берегу Сены, куда кладут тела, найденные в реке, чтобы их могли узнать родственники или знакомые. Ниже моста, в реке, протянута крепкая большая сеть; в нее попадают тела, унесенные течением. Впрочем, иные пропадают без вести.

Мадам Аллар поехала в казармы на следующий день.

Все узнали о том, что я пропала без вести. Отец опять ходил в Morgue; меня искали напрасно.

– Ваша мнимая смерть принесла, по крайней мере, один хороший плод, – сказала мне мадам д'Альбре, – отец ваш взял все в свои руки.

– Бедный отец и матушка! – отвечала я со слезами, – Мне жаль их.

– Конечно, его жаль, – сказала мадам д'Альбре, – но его мучит больше всего совесть. Эгоизм заглушал в нем сострадание, и он принес вас в жертву, лишь бы избавиться от семейной перебранки и шума. Подумайте только, Валерия: если вы хотите воротиться домой, то время еще не ушло. Полк выходит не раньше четверга.

– Я боюсь воротиться домой.

– Да, и сказать вам правду, эта история выставит вас в неблагоприятном свете, если вы воротитесь домой. Вы причинили много горя сестре моей и ее мужу. Они примут вас уже не

так радушно, потому что вы играли их чувствами. После всего, что случилось, вы не можете быть счастливы в вашем семействе. Отец ваш легко может обойтись и с тринадцатью детьми; у него только и состояния, что его шпага. Я все это обдумала прежде, нежели сделала вам предложение, и теперь думаю, что вам лучше всего оставаться здесь.

– Отцу моему было бы легче, если бы он знал, что я жива.

– Я и сказала бы ему, если бы это было возможно.

– Вы правы.

– Кажется.

– Да, – отвечала я, – все это правда, а все-таки я не могу не жалеть о нем. Я последовала вашему совету, но чувств моих уничтожить не могу.

– Они делают вам честь, и я не порицаю вас за них. Только не давайте им слишком много воли.

До отбытия полка в Лион оставалось еще три дня. Я была в сильной печали. Я воображала себе, как мучится отец; я готова была бежать в казармы и броситься в объятия родителей... Мадам д'Альбре удержала меня. Теперь мне понятны неосторожность и необдуманность советов ее, но тогда я была слишком молода и легкомысленна.

– Я принесла вам новости, – сказала мадам д'Альбре возвратясь из казарм, куда ездила провожать сестру. – Брат ваш, Август, возвратился, но переведен в другой полк, в Брест.

– Отчего? Видели вы его?

– Да; он был у полковника. Он сказал, что не может оставаться в полку после всего случившегося и потому желает оставить прежний полк.

– А отец?

– Отец предоставил это на его волю. Он чувствует его положение так же, как и зять мой, давший свое согласие на перевод вашего брата. Август ужасно о вас сожалеет. Я думаю, что он поступил хорошо.

– Я не могу о том судить.

– Я поехала домой, когда полк уже выступил и казармы опустели. Вы знаете: полковник выезжает последний. Теперь вы свободны; заключение ваше кончилось, и вы можете ходить по всем комнатам. Прежде всего мы должны заняться вашим гардеробом. Я довольно богата; мы распорядимся этим сейчас же. Позвольте сказать вам однажды навсегда – я не буду повторять этого на словах, но постараюсь доказать на деле – считайте меня матерью; взявши вас из родительского дома, я решилась заменить вам мать. Я люблю вас, потому что вы достойны любви. Будьте же ко мне доверчивы и любите меня в свою очередь.

– Благодарю вас, благодарю вас, – отвечала я, заливаясь слезами и припавши к ней лицом.

Глава V

Несколько дней я провела спокойно, Мадам д'Альбре суежилась по утрам за устройством моего гардероба. Меня радовали и удивляли вкус и богатство выбираемых ею нарядов.

– Это для меня слишком хорошо, – говорила я, рассматривая вещи одну за другою. – Вспомните, что ведь я дочь бедного человека.

– Да, была, – отвечала мадам д'Альбре, целуя меня в лоб, – но дочь бедного человека пропала, а вы теперь protégée госпожи д'Альбре. Я уже сказала знакомым, что жду из Гаскони молодую кузину, которую взяла к себе вместо дочери. Вы можете называться по-прежнему; в Гаскони нет недостатка в Шатонефах, и они состояли даже когда-то в родстве с фамилией д'Альбре. Я уверена, что если порыться, то можно доказать, что мы с вами кузины. Как скоро вы оправитесь, мы поедем на несколько месяцев ко мне в замок, а на зиму воротимся в Париж. Что, мадам Паон была?

– Да, и сняла с меня мерку для платья. Дайте мне поплакать, – я так много благодарна вам!

Мадам д'Альбре обняла меня, и я оросила слезами ее руку. Через неделю мы поехали в Бретань, в почтовой коляске мадам д'Альбре. Перед нами ехал курьер. Она не жалела денег.

Я должна познакомить читателя с нею поближе. Когда мадам д'Альбре предложила мне свое покровительство, я никак не думала, что она знатная особа; сестра ее вышла замуж за человека средней руки, и во время пребывания ее с мужем в Париже мадам д'Альбре старалась, из деликатности, являться у них запросто; я думала, что она так же, как и они, принадлежит к среднему сословию. Я ошиблась.

Мадам д'Альбре породнилась своим замужеством с одною из знатнейших фамилий Франции. Муж ее умер через три года после свадьбы; детей у них не было, и богатое наследство его досталось жене; желая, чтобы она опять вышла замуж, он утвердил свое имение за ней и ее детьми, а если детей не будет, то за другой ветвью фамилии д'Альбре. Я узнала, что она получает шестьдесят тысяч ливров годового дохода, и что, кроме того, у нее есть замок в провинции и отель на улице Сент-Оноре, которого она занимала, впрочем, только часть.

Со смерти ее мужа прошло уже больше десяти лет, но ни одному из многочисленных ее поклонников не удалось получить ее руки. Ей было тридцать четыре года; она была еще очень хороша собой и принята (что, впрочем, само собой разумеется) в лучшем парижском обществе. Вот кто являлся в казармы так запросто и принял меня под свое покровительство.

Я могла бы рассказать многое о счастливых днях, проведенных мною в замке. Общество было там бесподобное; мадам д'Альбре рекомендовала меня всем, как свою кузину. Заметивши, что у меня есть музыкальные способности и хороший голос, она пригласила для меня искусных учителей, и я, желая доказать ей мою благодарность, трудилась неутомимо и делала такие успехи, что сами учителя изумлялись. Музыка и вышивание составляли мое единственное занятие; каждую вышитую вещь я подносила мадам д'Альбре. Мне не хотелось в Париж; я с неудовольствием думала о том, что надо будет уехать из замка.

До переселения моего к мадам д'Альбре я испытывала только горе и не знала, что значит ласка. Страх был господствующим моим чувством и придавил во мне и телесное, и умственное развитие. Теперь меня пригрели любовь и участие. Похвалы, которых я до сих пор не слышала, ободрили меня, и дарования мои начали развиваться так быстро, что я сама себе дивилась. Я не знала своих способностей, не доверяла себе и почти считала себя душой. Внезапная перемена обращения оказала на меня самое удивительное влияние. В несколько месяцев я выросла почти на три дюйма и так расцвела, что, несмотря на всякое отсутствие тщеславия, я не могла не верить, когда мне говорили, что я очень хороша собой и сделаю впечатление в Париже. Впрочем, это не породило во мне желания ехать в столицу. Мне было здесь слишком хорошо,

и я не променяла бы дружбы мадам д'Альбре на лучшего мужа во Франции. Когда гости мадам д'Альбре заговорят, бывало, о моем будущем замужестве, я постоянно отвечала, что не хочу замуж. Я не скрывала, что мне не хочется на зиму в Париж, и мадам д'Альбре, не желавшая со мною расстаться так скоро и чувствовавшая, что я по молодости не могу жить одна, обрадовала меня, сказавши, что не думает пробыть в Париже долго и что не намерена часто вывозить меня в общество. Так и было. Мы приехали в Париж; для меня пригласили лучших учителей; но выезжала я с мадам д'Альбре редко, по утрам, да раза два в театр. Музыка занимала почти все мое время; я пожелала учиться по-английски, – мне достали учителя.

Между тем я сблизилась с мадам Паон, о которой, кажется, сказала, что она была первая модистка в Париже. Это случилось вот как: я шила очень хорошо; у меня было много вкуса, и я забавлялась в замке, придумывая разные новости, не для себя, а для мадам д'Альбре. Она не раз была удивлена моими выдумками и всегда находила, что они исполнены с большим вкусом. По приезде в Париж мы, разумеется, отправились сейчас к мадам Паон взглянуть на новые моды, и она заметила мой дар изобретения. Всякий раз, когда мадам д'Альбре заказывала себе новое платье, меня звали на совет, и так как мадам Паон была женщина очень благовоспитанная, то мы с нею и сошлись.

Прошло около двух месяцев со времени нашего приезда в Париж. Мадам Паон заметила однажды мадам д'Альбре, что так как я учусь по-английски, то мне не мешало бы заходить к ней по утрам для беседы с двумя милыми англичанками-модистками, которых она взяла к себе для объяснения с английскими покупателями. Она утверждала, что эта практика будет для меня гораздо полезнее уроков. Мадам д'Альбре согласилась; мне тоже понравилась эта мысль, и три или четыре утра в неделю проводила я у мадам Паон.

Надо, однако, познакомить вас с заведением мадам Паон; иначе вы можете подумать, что protégée знатной дамы была слишком снисходительна, делая визиты модистке. Мадам Паон была первая модистка в Париже и, как это обыкновенно случается, в близких отношениях со всеми дамами. Она шила для двора, и все вменяли себе в особенную честь заказывать у нее платье. Заведение ее находилось на улице Сент-Оноре, не помню в чьем великолепном доме; она занимала целый ряд прекрасных комнат, наполненных богатыми, изящными нарядами. В каждой комнате была щегольски одетая девушка, и все говорило о тонком, художественном вкусе хозяйки. Через анфиладу комнат проходили в приемную мадам Паон – большой, превосходно убранный салон. Мужчин в ее магазине не было; только в конторе сидели за своими столами шесть писцов. Прибавьте к этому, что у мадам Паон были прекрасные манеры, что она была хороша собою, высокого, величественного роста, богата, держала у себя многочисленную прислугу и щегольский экипаж, имела загородный дом, куда уезжала каждую субботу после обеда, – и вы согласитесь что мадам д'Альбре очень могла позволить мне посещать мадам Паон.

Я часто сообщала ей какую-нибудь новую мысль; она постоянно со мною соглашалась, тотчас же прилагала эту мысль к делу и извлекала из нее материальную пользу. Каждая вещь подвергалась моему суждению, и мадам Паон не раз говорила: «Что за удивительная вышла бы из вас модистка! Но, к несчастью модного света, это невозможно».

Наконец, сезон в Париже почти миновал, и я обрадовалась, когда мадам д'Альбре заговорила об отъезде. Я сделала очень большие успехи в музыке и английском языке. Я выезжала только на маленькие вечера, да и то неохотно. Я довольствовалась обществом мадам д'Альбре и не желала другого. Я была вполне счастлива, и это можно было прочесть на моем лице. Я вспоминала о родителях и брате Августе и строила воздушные замки: мечтала, как предстану я перед ними совершенно неожиданно, как брошусь им в объятия и буду умолять разделить со мною мое воображаемое богатство.

Мне было почти восемнадцать лет. Я уже год находилась под покровительством мадам д'Альбре, и старые вдовы, приезжавшие к ней в замок, беспрестанно твердили ей, что пора бы меня пристроить. До известной степени мадам д'Альбре соглашалась с их мнением; но ей

не хотелось со мною расстаться, а я тоже решила не покидать ее. Я не желала выйти замуж; я много об этом думала, и известные мне примеры замужества были не в моем вкусе. Всякий раз, когда речь заходила о моем замужестве, я убеждала мадам д'Альбре, по отъезде гостей, не слушать их советов, потому что решила остаться в девушках и просила только позволить мне прожить весь век с нею.

– Верю, Валерия, – отвечала мадам д'Альбре, – но считаю долгом не позволить вам в этом случае слушаться только ваших чувств. Такая девушка, как вы, создана не для скуки одинокой жизни. Я не хочу вас торопить, но если кто-нибудь сделает выгодное предложение, я сочту своим долгом постараться изменить ваши мысли, хотя и не прибегну ни к каким средствам, кроме убеждения. Я слишком счастлива вашим обществом и не желаю с вами расстаться; но удерживать вас против ваших выгод было бы с моей стороны страшным эгоизмом.

– Благодарю Бога, что у меня нет никакого состояния, – сказала я, – в нынешнем веке никто не предложит руки своей бедной девушке.

– Это вас не спасет, – отвечала м-м д'Альбре, смеясь, – многие удовольствуются надеждами на будущее; найдутся, может быть, такие, которые удовольствуются лично вами, без всяких прибавлений.

– Едва ли, – сказала я, – вы имеете обо мне слишком высокое мнение и напрасно думаете, что и другие смотрят на меня теми же глазами. Скажу только, что если найдется такой бескорыстный искатель моей руки, я поставлю его в моем мнении выше других мужчин, хотя и не настолько, чтобы ради его пожелала перемены моего положения.

– Хорошо, увидим, – отвечала мадам д'Альбре. – Экипаж подан, принесите-ка мне шляпку и шаль.

Через несколько недель после нашего возвращения в замок, некто г. Г**, потомок древней бретанской фамилии, проживший последние два года в Англии, возвратился к отцу своему во Францию и посетил мадам д'Альбре. Она знала его с детства и приняла его очень радушно. Я должна описать вам его, потому что он играет не последнюю роль в моей маленькой драме. Это был мужчина лет тридцати, довольно худой, но стройный; черты лица приятные, но изнеженные; приемы очень ловкие, светские; много ума и любезности в обращении с женщинами. Я никогда еще не видала такого светского человека. Он пел очень хорошо, играл на нескольких инструментах, рисовал карикатуры, – словом, за что ни брался, все у него выходило хорошо. Нечего и говорить, что с такими талантами он, как старинный приятель, был принят в доме мадам д'Альбре очень радушно и каждый день являлся в замок. Я скоро с ним сблизилась и любила проводить с ним время, – но не больше. Он ухаживал за мадам д'Альбре столько же, сколько и за мною, и не было никакого основания предполагать, что он имеет виды на кого-нибудь из нас. Мадам д'Альбре думала, однако же, не так, потому что я пела с ним дуэты и разговаривала по-английски. Она и другие надо мною подсмеивались.

Прошло два месяца, и г. Г** начал как будто ухаживать больше за мною. Мне самой это показалось. Мадам д'Альбре в этом не сомневалась и не мешала. Он был наследник богатого имени и не имел надобности брать за женою приданое.

Около этого времени одна англичанка, леди Батерст, путешествовавшая со своей племянницей, девочкой лет четырнадцати, приняла приглашение отца г. Г** провести неделю у него в замке, отстоявшем от поместья мадам д'Альбре миль на пять. Это была очень милая дама, и мы часто с нею видались.

Через несколько недель после приезда леди я гуляла на террасе одна. Тут подошел ко мне Г**. Сказавши слова два о красоте осенних цветов, он продолжал:

– Как различны обычаи двух народов, отделенных друг от друга всего только несколькими лье воды! Я говорю о французах и англичанах. У нас, во Франции, не спрашивают о чувствах и наклонностях девушки, а обращаются прямо к родителям, и если они находят партию приличную, так объявляют девушке, чтобы она готовилась к перемене образа жизни. В

Англии наоборот: там обращаются к девушке, стараются заслужить ее любовь, и потом уже, уверившись в ее согласии, просят согласия старших. Что, по-вашему, лучше и естественнее?

– Я выросла во Франции, мосье Г**, и предпочитаю обычаи Франции; родители и попечители лучше всякого другого могут судить о выгодах и невыгодах партии, и я думаю, что, не уверившись наперед в их согласии, не должно отдавать своего сердца, во избежание неприятностей.

– Да, в некоторых случаях это так, – отвечал он, – но как не позволять любить до замужества? Да и нам приятно ли вести к алтарю женщину, которая отдает свою руку, может быть, без всякого сердечного расположения, и даже, может быть, с отвращением?

– Не думаю, чтобы родители захотели навязывать дочери мужа, к которому она чувствует отвращение, – отвечала я, – любовь, не сильная до замужества, может усилиться после. Но я не могу да и не желаю высказывать моего мнения об этом предмете.

– Так как вы со мною не согласны, – возразил он, – то я боюсь сделать предложение по-английски, то есть, уверить вас в моей любви и спросить вашего согласия прежде, нежели обращусь к мадам д'Альбре.

– Я отвечу вам откровенно: может быть, вы хорошо сделали, что нарушили наши обычаи; это избавит вас от труда обратиться к мадам д'Альбре. Благодарю вас за честь, но не могу принять вашего предложения. Теперь вы знаете мои чувства и, конечно, будете столько великодушны, что не станете беспокоить мадам д'Альбре.

– Разумеется, – отвечал он оскорбленным голосом, – только с условием: обещайте и вы не говорить ей об этом.

– Извольте; я считаю это вашей тайною.

– И позвольте мне надеяться, что это не лишит меня вашей дружбы, и что мы останемся с вами в прежних отношениях.

– Всегда рада сохранять их с друзьями мадам д'Альбре. Позвольте пожелать вам доброго утра.

Я ушла к себе в комнату и начала рассуждать о случившемся. Я сердилась на Г** за его смелость, тем более не позволительную, что он знал зависимость мою от мадам д'Альбре, знал, что я не дам согласия без ее ведома. Я не любила его, – это верно, – хотя и находила удовольствие с ним беседовать. Мне стало жаль, что я обещала не говорить об этом мадам д'Альбре; но слово было дано, и я решилась сдержать его.

Я думала, что он мало-помалу от нас отстанет, но ошиблась. Он продолжал посещать нас по-прежнему очень часто и оказывал то же внимание мне и мадам д'Альбре. Это мне не понравилось; я начала избегать его, и он естественно бывал чаще с мадам д'Альбре, нежели со мною. Мадам д'Альбре на это досадовала: она уже соединила нас в своем воображении и каждый день ждала, что он попросит у нее руки моей; но мало-помалу, не знаю как и почему, она перестала на это сердиться и предоставила мне уходить из комнаты и делать, что угодно, не подвергаясь никаким с ее стороны замечаниям.

Вот в каком положении были дела под конец осени. Леди Батерст уговорили остаться в Бретани, и мы беспрестанно виделись. Она часто приглашала меня приехать к ней на несколько недель в Англию, и я в шутку отвечала, что приеду. Однажды поутру мадам д'Альбре сказала мне:

– Мадам Батерст опять просила меня отпустить вас с нею в Англию. Если вы не прочь погостить у нее, вместо того, чтобы ехать в Париж, так я согласна.

– Я обещала ей шутя.

– А леди Батерст думала, что вы говорите серьезно; да и я тоже: я дала ей слово, что вы поедете с ней. Я думала доставить вам этим случай усовершенствоваться в английском языке и рассеяться. Советую вам ехать. Это вас займет; маленькая перемена сделает вам пользу; кроме того, я замечаю, что внимание мосье Г** вам неприятно, так надо вас от него избавить.

– Я не могу поступать против вашего желания, – отвечала я с грустью, потому что сердце не предвещало мне ничего доброго. – Я еду, но только потому, что вы этого хотите.

– Это будет к лучшему, моя милая Валерия. Я дала за вас слово, и мне было бы неприятно взять его назад. Согласитесь, душа моя; я напишу к леди Батерст, чтоб она приготовилась принять вас.

– Ваши желания для меня закон, – отвечала я и ушла к себе в комнату. Тут я бросилась на постель и плакала горько, сама не зная о чем.

Дней через десять леди Батерст приехала взять меня в замок отца мосье Г**, где я должна была остаться до следующего утра, то есть до отъезда в Париж. Мне тяжело было расстаться с мадам д'Альбре; в последние дни она сделалась ко мне еще ласковее и внимательнее прежнего.

– Бог да благословит вас! – говорила она. – Пишите мне два раза в неделю; я буду ждать вас с нетерпением.

Я простилась с нею в слезах и проплакала до самого приезда в замок отца Г**.

Старик и сын его приняли меня с церемонною вежливостью; последний был в очень хорошем настроении.

– Увы, – говорил он, – какую пустыню оставляете вы за собою! Ваша страсть к путешествиям убийственна; мы вас уже не увидим!

Он сказал это с такою иронией, что я не знала, что подумать, и только встревожилась. Чего бы не дала я, чтоб отказаться от этой поездки! Но желание мадам д'Альбре было для меня законом. Чتب избавиться от тягостных мыслей, я пустилась в разговор с Каролиной, племянницей леди Батерст, и так как мы собирались выехать на рассвете, то и разошлись с вечера рано. На следующее утро мы уехали. В Париже пробыли мы только день, потом отправились в Булонь и сели там на корабль.

Был ноябрь. На середине канала нас окружил такой густой туман, что мы с трудом попали в гавань. Мы поехали в Лондон; туман не поднимался, и когда мы достигли предместий, он усилился до такой степени, что люди вели лошадей по улицам, держа в руках факелы. Я слышала, что Англия печальная страна, и поверила этому. Я спросила леди Батерст:

– Разве здесь никогда не бывает солнца, сударыня?

– Есть, есть, и еще какое прекрасное! – отвечала она, смеясь.

На следующий день мы отправились в поместье леди Батерст провести там святки. Не успели мы отъехать от Лондона трех миль, как туман исчез, солнце просияло, и безлистые ветви дерев, покрытые инеем, засверкали алмазами. В ту минуту, когда погода переменялась, и четыре почтовые лошади мчали нас во всю прыть, Англия показалась мне прекрасною. В поместье леди Батерст все мне очень понравилось: хорошо устроенные сады, оранжереи, красота всех мелочей, чистота дома и мебели; лондонские ковры в комнатах и на лестницах показались мне прекрасною выдумкою. Не понравилось мне общество, состоявшее, как мне показалось, из скучных эгоистов. Только Каролина была со мною приветлива, и мы сидели с ней обыкновенно в маленьком будуаре, где нам никто не мешал. Тут я занималась музыкой и разговаривала с Каролиной, по просьбе леди Батерст, то по-французски, то по-английски ради обоюдной нашей пользы.

Я два раза писала к мадам д'Альбре и на одно письмо получила ласковый ответ; но она ни слова не упоминала о моем возвращении, хотя мы условились, что я прогощу в Англии только недели три или месяц. Недели через две после моего приезда в Ферфильд, я получила от мадам д'Альбре второе письмо, такое же ласковое, но огорчившее меня известием, что она сильно простудилась и страдает грудью. Я отвечала ей в ту же минуту, просила позволения приехать и ухаживать за ней во время болезни. Целых три недели не было никакого ответа; я была в ужасном волнении и печали, думая, что мадам д'Альбре не может писать по болезни. Наконец, я получила от нее письмо. Она писала, что была очень нездорова, и что медики посоветовали ей ехать на зиму в южную Францию. Она не могла откладывать этой поездки и потому написала

к леди Батерст, что просит ее, если можно, позволить мне прогостить у нее до весны, когда она надеется возвратиться в Париж. Леди Батерст прочла мне это письмо и сказала, что очень рада видеть меня у себя подольше. Я, разумеется, поблагодарила ее, но на душе у меня было горько. Я написала к мадам д'Альбре и высказала ей мои чувства. Но так как она уже уехала между тем на юг Франции, то письмо мое, я знала, не могло изменить ее намерения. Я просила ее только извещать меня о своем здоровье.

Меня утешали, однако же, ласки леди Батерст и Каролины, моей постоянной собеседницы. Многие посещали леди Батерст, многие даже жили у нее в доме – но общества не было. Днем мужчины занимались лошадьми, собаками, ружьями. Вечером мы их тоже почти не видели, потому что они редко вставали из-за стола раньше того времени, когда я и Каролина уходили к себе в комнаты. Женщины вели себя точно как будто друг друга боятся и вечно настороже.

Прошли святки. От мадам д'Альбре не было известий. Это меня поразило и было источником многих горьких слез. Я воображала себе, что она умерла вдали от всех близких людей. Я часто говорила об этом с леди Батерст; она извиняла ее молчание, как умела, но, казалось, не желала распространяться об этом предмете. Наконец, я вспомнила о мадам Паон и написала к ней, спрашивая, не известно ли ей что-нибудь о мадам д'Альбре? Я рассказала ей, как попала в Англию, как мадам д'Альбре заболела, и как беспокоит меня ее молчание. На другой день после того, как я написала это письмо, Каролина, сидя со мной в будуаре, сказала:

– Мистрисс Корбет говорила тетушке, что дней десять тому назад видела мадам д'Альбре в Париже.

– Не может быть! – отвечала я. – Она в южной Франции.

– Я сама так думала, – продолжала Каролина, – но мистрисс Корбет сказала, что видела ее в Париже, и тетушка в ту же минуту выслала меня за чем-то из комнаты. Я уверена, что ей хотелось поговорить с мистрисс Корбет без свидетелей.

– Что бы это значило? – сказала я. – Сердце не предвещает мне ничего доброго. Я несчастна, Каролина!

Я закрыла лицо руками и опустила голову на стол; слезы потекли из глаз моих.

– Поговорите с тетушкой, – сказала Каролина, стараясь меня утешить. – Не плачьте, Валерия, ведь все это может быть недоразумение.

– Я сейчас же поговорю с леди Батерст, – сказала я, поднимая голову. – Это лучше всего.

Я ушла к себе, освежила глаза водою и пошла искать леди Батерст. Я нашла ее в оранжерее, где она отдавала какие-то приказания садовнику. Через минуту она взяла меня под руку, и мы пошли по террасе.

– Мадам Батерст, – сказала я, – Каролина ужасно меня огорчила, сказавши, что мистрисс Корбет видела мадам д'Альбре в Париже. Как может это быть?

– Сама не понимаю, – отвечала леди Батерст, – если только мистрисс Корбет не обозналась.

– А как вы думаете?

– Ничего не знаю; я написала в Париж, чтобы мне разъяснили это непонятное дело. Через несколько дней мы узнаем истину; не могу поверить. И если это правда, так мадам д'Альбре поступила со мною нехорошо: я очень рада видеть вас у себя, но зачем же было просить меня оставить вас у меня на зиму, под предлогом поездки на юг Франции, если она осталась в Париже? Я этого не понимаю, и покамест все это не подтвердится, ничему не верю. Мистрисс Корбет с ней не знакома и могла ошибиться.

– Она верно ошиблась, – сказала я. – Только странно, что я не получаю от мадам д'Альбре известий. Тут что-нибудь да не ладно.

– Не будем больше об этом говорить. Через несколько дней загадка разрешится.

И, действительно, через несколько дней загадка разрешилась: я получила от мадам Паон следующее письмо.

*«Любезная мадмуазель Шатонеф! Письмо ваше очень меня удивило. Приготовьтесь узнать неприятные для вас, я думаю, вести. Мадам д'Альбре в Париже и вовсе не уезжала в южную Францию. Увидевшись с нею, я спросила о вас. Она сказала, что вы в гостях у одной дамы в Англии, что вы оставили ее, что у вас какая-то *manie pour l'Angleterre*, и пожала плечами. Я хотела расспросить ее подробнее, но она прервала разговор, заговоривши о шелковом платье. Я увидела, что тут что-то неладно, но не могла понять, в чем дело. После того я увидела ее опять недель через пять. Она приезжала ко мне с господином Г**, известным всему Парижу отчаянным игроком, человеком дурным, но светским. Впрочем, его еще лучше знают в Англии, откуда он принужден был, говорят, уехать вследствие какой-то грязной карточной истории. Я опять спросила о вас, и на этот раз мне отвечал господин Г**. Он назвал вас неблагодарною и прибавил, что имя ваше не должно быть произносимо в присутствии мадам д'Альбре.*

*Прекрасное лицо господина Г** приняло при этих словах ужасное выражение, и я собственными глазами удостоверилась, что он, действительно, дурной человек. Мадам д'Альбре заметила на это только, что впредь будет осторожнее при выборе компаньонки. Меня поразили эти слова; я думала, что вы с ней совсем в других отношениях. Недели через две мадам д'Альбре объявила мне, что выходит замуж за Г**, и заказала мне подвенечное платье. Загадка объяснилась; но почему, выходя замуж за Г**, она лишает вас своего покровительства, и за что Г** на вас зол, этого я не знаю. Вот все, что мне известно; мне весьма приятно будет получать от вас известия, если вы...» и так далее.*

«Эмилия Паон, урожденная Мерсе».

Тайна объяснилась. Прочитавши письмо, я упала на софу и не скоро могла опомниться. Я была одна в моей спальне; голова у меня кружилась, в глазах было мутно.

Я достала воды и только через полчаса могла прийти в чувство. Тогда все сделалось для меня ясно, как нельзя яснее. Я поняла двойное ухаживанье Г** за мною и мадам д'Альбре, его гордый взгляд при моем отказе, его внимание после того к одной мадам д'Альбре, его желание избавиться от меня, отправивши меня в Англию с леди Батерст. Г** отомстил и достиг своей цели. Он добрался до богатства мадам д'Альбре, мог спустить его по зеленому сукну и успел погубить меня в ее мнении. Я поняла, что лишилась всего, и пришла почти в отчаянье.

Глава VI

Более часу пролежала я на софе, печально припоминая прошедшее, думая о настоящем и будущем. В два часа я совершенно переродилась. Я почувствовала самоуверенность; глаза мои прозрели, и чем больше обсуждала я безнадежность моего положения, тем больше чувствовала в себе мужества. Я упала на софу доверчивой, слабой девушкой, а встала с нее решительной, благомыслящей женщиной.

Я рассудила, что мадам д'Альбре никогда не простит женщине, обиженной его так, как я. Она уговорила меня разорвать все семейные узы (каковы бы они ни были), поставила меня в полную от себя зависимость и оттолкнула теперь самым жестоким образом. Она прибегла к обману, она чувствовала, что не может оправдать своего поступка. Она оклеветала меня, обвинила в неблагодарности, чтоб извинить свое собственное поведение. Примирение после этого было невозможно, и я решила не принимать от нее никакой помощи. Кроме того, она вышла за Г**, оскорбившегося моим отказом и, по всей вероятности, увидевшего, что меня необходимо удалить от мадам д'Альбре, чтобы я не помешала его планам. С этой стороны нечего было ожидать. Что же я в доме леди Батерст? Гостя! Простившись с нею, мне негде будет приклонить голову!

Что леди Батерст предложит мне временный приют и не захочет указать мне двери, в этом я не сомневалась. Что мне было делать? Я играла и пела хорошо, говорила по-французски и по-английски, понимала по-итальянски и умела шить и вышивать. Вот с чем должна я была вступить в свет. Я могла давать уроки музыки и французского языка, пойти в гувернантки или модистки.

Я вспомнила о мадам Паон, но в то же время вспомнила и о том почтительном уважении, с которым принимали меня у нее, как *protegee* знатной дамы; стать теперь в ее доме наряду с прочими, казалось мне унижительным, и я решила, что если нужда заставит меня определиться куда-нибудь в магазин, так я выберу такой, где меня никто не знает.

После долгого размышления я решила пойти к леди Батерст, объявить ей мое намерение и попросить ее помочь мне отыскать местечко. Я убрала волосы, оправилась и пошла к ней. Я застала ее одну, спросила ее, может ли она уделить мне несколько минут, подала ей письмо мадам Паон и рассказала ей все то, что было ей обо мне неизвестно. Во время рассказа бодрость моя воскресла, голос мой сделался тверд, я чувствовала, что я уже не ребенок.

– Я рассказала вам все это потому, леди Батерст, что вы, конечно, согласитесь, что между мною и мадам д'Альбре все кончено; если б она даже сделала мне какое-нибудь предложение, я не приму его. Ее поступок поставил меня в самое ложное положение. Я у вас в гостях в качестве ее знакомой. Теперь она лишила меня своего покровительства, и я нищая, которой будущая жизнь зависит от моих личных дарований. Я говорю вам об этом откровенно, потому что не могу оставаться у вас в гостях. Сделайте одолжение, рекомендуйте меня куда-нибудь, где бы я могла найти средства к существованию.

– Любезная Валерия, – отвечала леди Батерст, – сердцу вашему нанесли сильную рану, и я рада, что вы не упали духом. Я слышала о замужестве мадам д'Альбре и обмане, к которому она прибегла, чтоб от вас избавиться. Несколько дней тому назад я писала к ней, обратила ее внимание на разногласие между содержанием ее писем и истиною и спросила, что мне с вами делать? Сегодня я получила от нее ответ. Она утверждает, что вы жестоко ее обманули; что, притворяясь признательною и любящею, вы чернили и осмеивали ее за глаза, особенно перед Г**, теперешним ее мужем; что она вас и простила бы, но Г** решительно не хочет видеть вас у себя в доме. Она прислала вам билет в пятьсот франков, чтобы вы могли возвратиться к отцу.

– Значит, догадка моя была справедлива: всему причиной господин Г**.

– Зачем было ему доверять, Валерия; вы поступили ужасно неосторожно и, смею прибавить даже неблагодарно, говоря с ним о мадам д'Альбре в таком тоне.

– И вы этому верите? Если так, то чем скорее мы расстанемся, тем лучше.

Я рассказала ей об отказе моем господину Г**, описала ей, что это за человек, и доказала, что он действовал побуждаемый корыстью и мщением.

– Верю, Валерия, – отвечала леди Батерст. – Извините, что я сочла вас способною к неблагодарности. Это объяснение позволяет мне сделать вам предложение, от которого удерживала меня взведенная на вас клевета. Оставайтесь покамест у меня. Вы могли бы быть гувернанткой Каролины, но я желаю лучше, чтобы вы остались у меня в качестве приятельницы. Вы, я знаю, не позволите себе стать в зависимое положение, не принося пользы. Вы знаете, что по приезде в Лондон я хотела пригласить Каролине гувернантку. Я приглашаю вас, если вы согласны, и вы меня истинно этим одолжите, потому что в вас найду я и познания, и дружбу.

– Благодарю вас за ваше предложение, – отвечала я, вставая и кланяясь, – но позвольте мне об этом подумать. Вы согласитесь, что это критическая минута в моей жизни, и я должна постараться не сделать ошибки.

– Разумеется, разумеется, – отвечала леди Батерст. – Вы правы; об этом надо сперва подумать, а потом уже решиться. Только позвольте вам заметить, что вы со мною ужасно горды.

– Может быть, и в таком случае прошу вас извинить меня. Вспомните, что Валерия, ваша вчерашняя гостья, теперь уже не та.

Я взяла билет в пятьсот франков, лежавший на столе, и ушла к себе в комнату.

Я была рада остаться наедине; подавленное волнение расслабило как-то все мои члены. Я решилась принять предложение леди Батерст в ту самую минуту, когда оно было сделано, но не хотела показать, что обрадовалась ему, чего она, вероятно, ожидала. После обмана мадам д'Альбре я не доверяла никому, кроме себя, и думала, что когда во мне не будет больше надобности, то леди Батерст отпустит меня так же без церемонии, как и мадам д'Альбре. Я очень хорошо знала, что могу обучать Каролину, и что леди Батерст не скоро отыщет гувернантку, которая так хорошо могла бы преподавать музыку и пение. С ее стороны не было тут, следовательно, никакого одолжения, и я решилась отказаться, если условия покажутся мне невыгодными. У меня были еще деньжонки: из двадцати золотых, данных мне на дорогу мадам д'Альбре, я истратила немного. На несколько времени я была обеспечена, если бы не сошлась с леди Батерст.

Поразмысливши обо всем, я написала к мадам Паон; известила ее о случившемся, сказала, что решилась жить собственными трудами, и, не зная еще, приму ли предложение леди Батерст, прошу ее дать мне рекомендательное письмо к кому-нибудь из знакомых ей французов в Лондоне, где я совершенно чужая, и где меня легко обмануть, если никто не поможет мне добрым советом. Потом я написала к мадам д'Альбре следующее письмо:

«Любезная мадам д'Альбре!

Да, я все-таки приветствую вас этими словами. Хотя вы и не хотите меня знать, вы все-таки дороги моему сердцу, может быть еще дороже с тех пор, как перестали быть моею покровительницею и второю матерью. Когда несчастье постигает тех, кого мы любим, когда благодетели наши сами скоро будут нуждаться в помощи, – тогда-то и можем мы доказать им свою любовь и благодарность. Я не ставлю вам в вину, что вы обмануты низким лицемером, прикрытым увлекательною маскою; не порицаю вас за то, что вы поверили ему, будто я вас чернила. Вас ослепили ваши чувства к нему и его притворство. Дурно я сделала, что не сказала вам, что незадолго до моего отъезда он предлагал мне свою руку, которую я отвергла с негодованием, потому что он решился сделать это предложение, не спросивши предварительно вас. Впрочем, я не приняла бы его, если бы даже

*вы этого пожелали, потому что все считают его человеком фальшивым. Я должна бы была сказать вам об его предложении, но он просил меня не говорить, и я тогда не знала еще, что он нищий и игрок и должен был оставить Англию вследствие одной грязной карточной истории, в чем вы легко можете удостовериться. Мадам Паон может вам рассказать все это. Вот в чьи руки вы попали. Глубоко о вас сожалею! Сердце мое обливается кровью. Через несколько месяцев вы, вероятно, убедитесь в истине моих слов. Что я обязана моим несчастьем господину Г**, это правда. Я лишилась доброй покровительницы и принуждена теперь жить собственными трудами, как могу. Все мечты мои о счастье с вами, все желания доказать вам мою любовь и благодарность исчезли, и я осталась одна, без крова и защиты. Но я мало думаю о себе; во всяком случае, я свободна, я не прикована к такому человеку, как Г**, и думаю только о вас и ожидающих вас страданиях. Возвращаю вам ваши пятьсот франков; я не могу принять их. Вы жена господина Г**, и я не могу принять ничего от человека, который уверил вас, что Валерия неблагодарна и злоязычна. Прощайте; буду молить за вас Бога и оплакивать ваше несчастье. Навсегда вам благодарная Валерия де Шатонеф».*

Сознаюсь, что письмо это выражало смешанное чувство. Я действительно сожалела о мадам д'Альбре и прощала ее; но я желала отомстить г. Г** и потому без пощады наносила раны ее сердцу. Впрочем, писавши письмо, я не думала об этом. Я хотела только отомстить и не могла этого сделать, не выставив господина Г** в его настоящем свете; а это, разумеется, значило раскрыть глаза мадам д'Альбре и пробудить в ней подозрения. Это было жестоко; я почувствовала это, перечитывая мое письмо, но не захотела изменить моих выражений вероятно потому, что простила мадам д'Альбре не так вполне, как себе воображала. Как бы то ни было, письмо было запечатано и отослано в тот же день вместе в письмом к мадам Паон.

Теперь мне оставалось только условиться с леди Батерст, и я пошла в гостиную, где и нашла ее одну.

– Я обдумала ваше предложение, – сказала я ей. – Мне, разумеется, стоило это небольшой борьбы, потому что, вы понимаете, неприятно же превратиться из гостьи в подчиненную. Но желание остаться с людьми, которых я столько уважаю, и заняться воспитанием молодой девушки, которую так люблю, склонило меня принять ваше предложение. Позвольте узнать, на каких условиях хотите вы оставить меня у себя в доме гувернанткой?

– Валерия, это говорит в вас гордость, – возразила леди Батерст. – Признаюсь вам, я не желала бы заключать с вами никаких условий; я желала бы, чтобы вы остались у меня как друг, и располагали моим кошельком, как своим; но так как вы этого не хотите, то скажу вам, что я надеялась найти гувернантку за сто фунтов стерлингов в год и предлагаю вам эту сумму.

– Этого с меня более нежели достаточно, – отвечала я. – Принимаю ваше предложение, если вы хотите взять меня для испытания на полгода.

– Валерия, вы заставляете меня смеяться и сердиться; но я вас понимаю: вы испытали жестокий удар. Не будем больше об этом говорить; условие заключено и останется тайною, если вы сами ее не разгласите.

– Я нисколько не намерена скрывать этого, леди Батерст; я не желаю носить маски и быть в глазах ваших друзей не тем, что я в самом деле. Стыдиться тут нечего, и я ненавижу обман. Каково бы ни было положение мое в свете, я надеюсь, что не обещу своего имени, и не я одна из благородных, которых постигло несчастье.

Странно! Я в первый раз в жизни начала гордиться моим именем. Это произошло, я думаю, оттого, что, потерявши многое, человек больше дорожит тем, что у него осталось. Во все время моего знакомства с леди Батерст, она не заметила во мне ни малейшего признака

гордости. Protégée и воспитанница мадам д'Альбре, девушка с блестящей будущностью, я была само смирение; теперь же, подчиненная, состоящая на жалованьи, я сделалась горда, как сам Люцифер. Леди Батерст заметила это и – я должна отдать ей справедливость – вела себя со мною очень осторожно. Она чувствовала ко мне сожаление и обращалась со мною учтивее и даже с большим уважением, нежели прежде, когда я была ее гостьей.

На другой день я объявила Каролине, что приняла на себя должность ее гувернантки на полгода. Я сказала ей, что теперь должна буду надзирать за успешным ходом ее занятий и что намерена оправдать доверие ее тетки. Каролина, девушка с кротким, теплым сердцем, отвечала, что будет смотреть на меня по-прежнему, как на подругу, и из любви ко мне будет исполнять все мои желания. Она сдержала свое слово.

Читатель согласится, что переход мой из высшего состояния в низшее совершился как нельзя покойнее и легче. Слуги не знали, что я сделалась гувернанткой, потому что леди Батерст и Каролина называли меня по-прежнему Валерией и не изменили своего обращения со мною. Я посвящала много времени Каролине и сама училась, чтобы лучше обучать ее. Я повторила все с самого начала; Каролина делала быстрые успехи в музыке, и можно было ожидать, что через несколько лет у нее будет прекрасный голос. Зимой мы приехали в столицу, но я избегала общества, сколько могла, так что леди Батерст жаловалась на это.

– Валерия, напрасно вы не показываетесь в обществе. Все удаляются и меня, естественно, осыпают вопросами; спрашивают, гувернантка ли вы или что другое?

– Что ж? Отвечайте им, что гувернантка. Я не люблю скрытности.

– Да я не могу с этим согласиться; вы не то, что называют гувернанткой, Валерия. Вы молодая приятельница, которая живет у меня и учит мою племянницу.

– То есть то, чем должна быть всякая гувернантка, – отвечала я.

– Согласна, – возразила леди Батерст, – но если вы поступите к другим, вы увидите, что вообще на гувернантку смотрят и поступают с нею иначе. У нас, в Англии, в некоторых домах я не знаю никого достойнее сожаления гувернантки; на нее смотрят, как на лицо, которое не довольно хорошо для гостиной; хозяин и хозяйка дома обходятся с нею свысока и только *терпят* ее в своем обществе; слуги думают, что гувернантка не имеет права требовать с них уважения и услуг, за которые им платят: она, говорят они, получает такое же жалование, как и мы. Таким образом гувернантке почти везде отказывают в уважении. Она сама несчастна и часто бывает причиной разлады в доме; слуг всего чаще отпускают из-за нее. В гостиной она мешает разговору. Она утрачивает веселость и цвет молодости; делается раздражительною от беспрестанных неприятностей, и жизнь ее проходит скучно, тяжело. Я говорю вам это откровенно. У меня вы не испытаете этих неприятностей, но переселиться в другой дом, подобный описанному мною, будет с вашей стороны риск.

– Я слышала это и прежде, – отвечала я, – но ваше внимание ко мне заставило меня забыть все. Печален будет для меня тот день, когда я принуждена буду с вами расстаться.

Доложили о приезде гостей, и разговор наш был прерван. Я уже говорила вам о моем даровании одевать к лицу; я всеми силами помогала в этом леди Батерст. Все замечали изящество ее наряда и спрашивали, кто на нее шьет. Она же говорила, что обязана всем мне.

Время летело, и зима приходила к концу. Леди Батерст рассказала почти всем своим знакомым о перемене моего положения, прибавляя, что я у нее в доме больше компаньонка, нежели что-нибудь другое. Это доставило мне их уважение, и меня часто приглашали на вечера, но я постоянно отказывалась, только иногда ездила в оперу и французский театр.

Мадам Паон прислала мне рекомендательное письмо к одному из своих знакомых, мосье Жиронаку, жившему на Лейчестер-сквере. Он был женат, но детей у него не было. Днем он давал уроки на флейте, на гитаре и французского языка, а по вечерам играл вторую скрипку в опере. Жена его, хорошенькая, живая женщина, учила молодых девиц делать цветы из воска и чинила по вечерам кружева. Это была премилая чета, проводившая век свой в потешной войне

друг с другом. Я не видывала ничего забавнее их поединков, кончавшихся обыкновенно громким хохотом. Они меня приняли очень радушно и обходились со мною чрезвычайно почтительно, пока короткое знакомство не сделало этого излишним. Дружба наша укрепилась еще более, когда Каролина изъявила желание выучиться делать цветы и сделалась ученицею мадам Жиронак. В таком положении были мои дела, когда зима миновала, и мы возвратились в загородный дом.

Время летело. Леди Батерст обходилась со мною очень ласково, Каролина тоже, и я была счастлива. Я занялась обучением моей воспитанницы очень серьезно и имела удовольствие слышать, что труды мои не пропадают напрасно. Я думала остаться при Каролине, пока воспитание ее не будет вполне окончено, то есть еще года два или три, и, будучи обеспечена на это время, не думала о будущем, как вдруг одно обстоятельство уничтожило все мои расчеты.

Я вам сказала, что Каролина была племянница леди Батерст; она была дочь ее младшей сестры, вышедшей замуж за молодого человека, не имевшего ни гроша денег и совершенно зависевшего от своего дяди, холостяка. Дядя рассердился за эту женитьбу на племянника и сказал ему, чтобы он не ожидал от него ничего ни при жизни, ни после смерти. Сестра леди Батерст и муж ее жили в крайности, пока леди Батерст не выхлопотала ему места в триста фунтов жалованья при таможене. Они жили этим доходом и подарками леди Батерст; у них было два сына и дочь; леди Батерст взяла к себе дочь, Каролину, и обещала устроить ее еще при жизни или отказать ей значительную сумму после своей смерти. Леди Батерст была богата и могла ежегодно откладывать для Каролины деньги, что и делала с тех пор, как взяла ее к себе.

Теперь дядя отца Каролины умер и, несмотря на свои угрозы, отказал племяннику все свое огромное имение, так что он стал вдруг богаче самой леди Батерст. Следствием этого было письмо к леди Батерст, в котором ее извещали об этом событии и требовали немедленного возвращения Каролины в дом ее родителей. В этом письме – я читала его, потому что леди Батерст, очень этим огорченная, дала мне его прочесть, сказавши: «Это касается до вас столько же, сколько до меня и до Каролины», – в этом письме они ни пол-словом не благодарили ее за ее одолжения; это было холодное бесчувственное послание, и мне было противно читать его.

– И это вся их благодарность? – сказала я. – Чем больше живу я на свете, тем больше ненавижу его.

– Это в самом деле очень дурно, – отвечала леди Батерст. – Каролина прожила со мною так долго, что я смотрю на нее как на мою дочь, и вот ее отнимают у меня, не обращая никакого внимания на мои чувства. Это жестоко и неблагодарно.

С этими словами она встала и вышла. После я узнала, что в ответ на это письмо она говорила о воспитании Каролины у нее в доме, о привычке видеть в ней свою дочь и просила ее родителей, чтобы они позволили ей возвратиться, повидавшись с ними. Она говорила, что жестоко и неблагодарно с их стороны отнимать у нее Каролину теперь, когда обстоятельства их переменились. Но на это она получила самый оскорбительный ответ, в котором ее просили составить счет издержкам на воспитание племянницы, дабы ее немедленно можно было удовлетворить.

Леди Батерст рассердилась и, конечно, имела на это достаточную причину. Она послала за Каролиной, знавшей до сих пор только, что отец и мать ее получили большое наследство, отдала ей это письмо вместе с копией своего собственного и просила прочесть их. Во время чтения она внимательно следила за выражением лица Каролины, как будто желая узнать, не наследовала ли она неблагодарности родителей. Но бедная Каролина закрыла лицо руками, бросилась на колени перед теткой, припала к ее платью и зарыдала. Через минуту леди Батерст подняла свою племянницу, поцеловала ее и сказала:

– Я довольна; по крайней мере, моя Каролина не неблагодарна. Теперь, дитя мое, ты должна исполнить долг твой – повиноваться родителям. Мы должны расстаться, следовательно,

чем скорее это будет сделано, тем лучше. Валерия, не угодно ли вам позаботиться, чтобы все было готово к отъезду завтра утром.

С этими словами леди Батерст освободилась от Каролины и вышла из комнаты. В этот день мы не сходились к обеду; леди Батерст прислала извиниться, сказавши, что слишком расстроена и не может выйти; мы с Каролиной тоже были не в духе и остались у себя в комнате. Вечером леди Батерст позвала меня к себе; я застала ее в постели нездоровую.

– Валерия, – сказала она, – я желаю, чтобы Каролина уехала завтра пораньше, так, чтобы вы, проводивши ее, возвратились до ночи домой. Я не могу видеть ее завтра и прощусь с вечера. Приведите ее. Чем скорее это кончится, тем лучше.

Я позвала Каролину. Прощание было горькое. Трудно решить, кто из нас плакал больше всех. Через полчаса леди Батерст сделала мне знак, чтобы я увела Каролину. Я увела ее и уложила поскорее в постель. Просидевши у нее до тех пор, пока она заснула, я сошла вниз, отдала приказание на утро и ушла к себе. Утомленная тревогой дня, я несколько времени не могла сомкнуть глаз и думала, какие следствия всего этого будут лично для меня. Я была гувернанткой Каролины и не могла ожидать, чтобы леди Батерст захотела оставить меня при себе, после ее отъезда; да я и не согласилась бы на подобное предложение, потому что в таком случае я совершенно зависела бы от ее щедрости, не искупая ее никакими услугами. Было ясно, что я должна проститься с леди Батерст и искать себе другого места. Я была уверена, что она не позволит мне уехать от нее немедленно и даст мне время приискать себе место. Но идти ли мне в гувернантки после всего, что говорила мне об этом леди Батерст, или избрать себе другое занятие, – этого я не могла еще решить. Я кончила мое размышление тем, что решила предоставить все на волю Провидения и заснула.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.